

А. В. АРХИПОВА

БЛОК И ДОСТОЕВСКИЙ

Статья 1

На рубеже XIX и XX вв. творчество Достоевского пережило свое второе рождение. Оно было заново открыто и глубоко осмыслено литераторами символистского направления. Отношение Блока, как и некоторых других «младших символистов», например Андрея Белого, к Достоевскому основывалось на тех результатах, которые получили в 1890-е годы исследователи Достоевского «новой волны». Известно, что всякое направление в искусстве и общественной мысли начинает свою жизнь с критики предшественников. Не были исключением и символисты, отталкивавшиеся от социально направленной литературы русского реализма второй половины XIX в. Неприятие символистами материализма, прагматизма, позитивизма предыдущей эпохи распространялось и на литературу, выросшую на основе подобных представлений. Известно их ироническое отношение к литературе, поднимавшей прежде всего социальные проблемы, к фигуре литератора-«властителя дум», как и к социально направленной литературной критике, извлекавшей из художественного произведения только его общественную «идею».¹ При этом символисты воспринимали современную литературу как звено в общем процессе культуры, ощущали связь с прошлым и признавали огромное общественное значение литературы и искусства. «Велико значение писателя в жизни народа, — писал А. Белый. — Всем известна власть идей, заключенных в художественном образе. Столь же известна власть их за пределами истории литературы».² И каждый подлинный художник не может уйти от жизни и замкнуться в своем эстетизме. «Несомненно, интимнейшее стремление каждого истинного писателя, — подчеркивал А. Белый, — есть стремление дать свой ответ на вопросы жизни: в этом смысле писатель — учитель жизни».³

¹ См., например: *Бугаев Б.* Литератор прежде и теперь // *Весы.* 1906. Окт. С. 46—49; *Белый А.* Об идейном искусстве и «презрительном Терсите» // *Русская мысль.* 1911. № 12. С. 15—20 (второй пагинации).

² *Белый А.* Об идейном искусстве и «презрительном Терсите». С. 15.

³ Там же.

Отмечая, что новая эпоха воспринимает литературу эстетически, как искусство слова, в чем виден несомненный прогресс по сравнению с прежним, социологическим подходом к литературе, молодые символисты ощущают в то же время утрату каких-то существенных составляющих литературного процесса, несомненное снижение общественной роли литературы и тоскуют о ней.

Об утрате современной литературой своего прежнего общественного влияния, своей связи с людьми с горечью писал Блок в 1908 году. В статье «Вечера искусств» он противопоставил современным литературным собраниям, способным удовлетворять лишь чувства «стадного инстинкта» и «любопытства», прежние литературные вечера, создававшие утраченное уже теперь чувство единения писателя и общества. «На днях один писатель (не моего поколения) рассказывал мне о прежних литературных вечерах; бывали они очень редко и всегда отличались особой торжественностью. Нечего и говорить о том, почему был прав Достоевский, когда с эстрады „жег сердца людей” „Пророками” Пушкина и Лермонтова. Это было торжество неслыханное, — и разве можно было не запомнить такого „явления” Достоевского „народу” на всю жизнь? Но почему потрясали сердца: Майков со своей сухой и изящной декламацией, Полонский с торжественно протянутой и романтически дрожащей рукой в грязной белой перчатке, Плещеев в серебряных седирах, зовущий „вперед без страха и сомнений”? Да потому, говорил мне писатель, что они как бы *напоминали* о чем-то, будили какие-то уснувшие струны, вызывали к жизни высокие и благородные чувства. Разве есть теперь что-нибудь подобное, разве может быть?».⁴

Эта ностальгия по прошлому русской литературы отражает в какой-то мере ощущаемую символистами глубинную связь с общим процессом русской культуры. О тяготении Блока к ведущим идеям и традициям XIX в., о том, что «идейно-эстетические начала» его мировоззрения были «прочны связаны прежде всего с высокой гуманистической культурой России XIX века», писал Д. Е. Максимов.⁵ Минц отмечала, что проблема отношения писателей-символистов к несимволистским направлениям в литературе и прежде всего к реализму является важнейшей для современного изучения эволюции русского символизма.⁶

В этой связи тема восприятия и творческого преломления Блоком наследия Достоевского — одна из ведущих. Она не

⁴ Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 307—308. В дальнейшем все цитаты, приводимые по этому изданию, даются в тексте с указанием тома и страницы

⁵ Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1976. С. 283—284.

⁶ Минц З. Г. Об эволюции русского символизма // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 735 (Блоковский сборник. Вып. 7). Тарту, 1986. С. 24.

раз была предметом специального исследования.⁷ Кроме того, все исследователи творчества Блока в своих работах постоянно обращаются к фигуре Достоевского, к вопросу о воздействии его на поэзию и прозу Блока.

При всем том тема эта не может считаться исчерпанной. Воздействие такого художника и мыслителя, как Достоевский, на творчество писателей-символистов, и в частности на творчество Блока, не сводится к прямым откликам, толкованиям, заимствованиям или реминисценциям. Достоевский помог литераторам «серебряного века» по-новому осмыслить человека, житейские и исторические процессы, философские вопросы. Помимо специального обращения к наследию русского романиста писатели-символисты ощущали воздействие Достоевского подчас и на подсознательном уровне, как глубоко пережитое ими большое явление предшествовавшей культуры. В этом смысле творчество Блока, мало обращавшегося, в отличие от таких писателей-символистов, как Д. С. Мережковский, Вяч. Иванов или Андрей Белый, к историко-литературным или литературно-теоретическим штудиям, очень показательным. Блок, особенно зрелый, преодолевший неизбежный для всякого молодого писателя груз разнообразных «влияний», развивая свои темы, не мог не осознавать вклад в решение многих близких ему проблем своих предшественников, в том числе Достоевского. Блок иногда опирался на него, иногда явно или скрытно полемизировал с ним, иногда отталкивался. Эти явные и неявные переключки великого поэта XX в. с великим прозаиком XIX в., на наш взгляд, представляют большой интерес, так как помогают понять значение такого явления, как Достоевский, для последующей русской литературы.

«Огромное значение для Блока имело творчество Достоевского», — подчеркивал Д. Е. Максимов и отмечал, что, хотя Блок упоминает Достоевского реже, чем, например, Ибсена или Л. Толстого, причиной этого, возможно, была «такая мера близости Блока к Достоевскому, при которой объективация, нужная для анализа, затруднена».⁸

Достоевский вошел в жизнь Блока еще в ранней юности, ознаменовав переход к интересам и ценностям, отличным от интересов той либеральной профессорской среды, в которой он вырос.⁹

⁷ См.: Минц З. Г. Блок и Достоевский // Достоевский и его время. Л., 1971; Соловьев Б. И. Блок и Достоевский // Достоевский и русские писатели. М., 1971; Архипова А. В. «Подросток» в творческом восприятии Александра Блока // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3; Сахаров В. И. Достоевский, символисты и Александр Блок // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6; Корецкая И. В. Блок о Достоевском // Литер. наследство. Т. 92. Кн. 4: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. С. 13—33.

⁸ Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 440.

⁹ См.: Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. Л., 1978. С. 24—29

Достоевский воспринимался Блоком в разные годы по-разному, но всегда был «созвучен» каким-то сторонам его творчества. Как и другие символисты, поэт осознавал Достоевского не как писателя ушедшей эпохи, как например Тургенева, а как современника. Для символистов Достоевский стоял у истоков «современности», XX в., вместе с Ибсенем и Ницше он начинал новую эпоху — эпоху катастрофического сознания и трагических предчувствий.

Говоря о настроениях рубежа веков, А. Белый писал: «Все было тихо. (...) Изредка лишь докатывался до нас лавинный грохот ибсеновских драм, да звучали исступленные диалоги лирики Достоевского как намек на тревожное будущее. Плоскость пессимистической эстетики незаметно здесь выявляла свое третье трагическое измерение, и оно прозвучало вдруг „Происхождением трагедии“ Ницше. Вдруг все изменилось».¹⁰ Для А. Белого — Достоевский (вместе с Ибсенем) правозвестник Ницше, для Вяч. Иванова Достоевский и Ницше — современники. «Достоевский и Ницше, — писал он в 1905 году, — два новых властителя наших дум, еще так недавно сошли со сцены, прокричав в уши мира один свое новое и крайнее Да, другой свое новое и крайнее Нет — Христу. Это были два глашатая, пригласившие людей разделить на два стана в ожидании близкой борьбы, сплотиться вокруг двух враждебных знамен».¹¹

Блок в рецензии на Собрание сочинений Эдгара По (1906) отметил, что По — писатель почти XX в., оказавший огромное влияние на символистов, подчеркнув в то же время близость к Э. По «нашего Достоевского» (т. 5, с. 617). А в другом месте (в рецензии на сборник статей К. Д. Бальмонта «Горные вершины» — 1904) Блок тоже пишет о сходстве Э. По и Достоевского в плане литературном, отмечая, однако, огромное превосходство Достоевского в плане «мистическом». И сочувственно цитирует слова Бальмонта о Достоевском: «Это, быть может, наш лучший писатель, наш сердцевед и пророк» (т. 5, с. 535). Для Блока Достоевский оставался всегда «своим» писателем, писателем современной эпохи «безвременья». Он стоит в начале ее, но ей не противопоставлен. Не случайны его сопоставления с современными писателями: Л. Андреевым («Безвременье»), Ф. Сологубом («Ирония»). Может быть, в пору своего кризиса, в пору создания статьи «Ирония» (1908) Блок слишком уж сближает Достоевского с современными декадентами-индивидуалистами, но важно подчеркнуть, что он всегда или почти всегда ощущал близость Достоевского к современности. В своем обличении «иронии» — *«разлагающего*

¹⁰ Белый А. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 206.

¹¹ Иванов Вяч. По звездам: Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 311.

смеха» (т. 5, с. 346), этом порождении и проявлении современного индивидуализма, Блок использует выражения героев Достоевского, зараженных индивидуализмом: «перед лицом проклятой иронии — все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая тьма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешалось как в кабаке и мгле. Винная истина, „in vino veritas” — явлена миру, все — едино, единое — есть мир; я пьян, ergo — захочу — „приму” мир весь целиком (...); захочу — „не приму” мира. (...)»¹² Так мне угодно, ибо я пьян. (...) Пьян иронией, смехом, как водкой: так же все обезличено, все „обещещено”, все — все равно» (т. 5, с. 346—347).¹³

Достоевский не только создал образы, предвосхищающие современных индивидуалистов, он сам носил в себе их черты. «Конечно, и Достоевский, и Андреев, и Сологуб — по одному — русские сатирики, разоблачители общественных пороков и язв; но и по другому-то, и по самому главному, — храни нас господь от их разрушительного смеха, от их иронии (...). Достоевский не говорил прямого „нет” тому семинарскому нигилизму, который разбирает его. Он влюблен чуть ли не более всего в Свидригайлова» (т. 5, с. 348).¹⁴ Точно так же и Андреев в глубине души любит то, чем мучается, а Сологуб «не променяет мрака своего бытия ни на какое иное бытие» (там же).

Достоевский для Блока — не идеал художника, не учитель гармонии, как Пушкин, не мудрец, как Лев Толстой, это писатель «свой», выразитель противоречивого сознания той эпохи, которую Блок называл эпохой безвременья. Достоевский прежде всего привлекал зрелого Блока мастерством и глубиной анализа противоречий. Особенностью самого Блока было, по словам Д. Е. Максимова, восприятие мира, вещей, представлений «в их внутренней динамической противоречивости, то есть в их реальной сложности, в их движении и глубине». Ибо «открытие противоречий в объекте неизмеримо увеличивает возможность постижения его конкретной природы».¹⁵ О «спасительном яде творческих противоречий» писал Блок и в более поздней статье о Р. Вагнере — «Искусство и революция» (1918). «Новое время тревожно и беспокоино. Тот,

¹² Ср. заявление Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых» Достоевского: «Я не Бога не принимаю (...) я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять» (14, 214).

¹³ Ср. слова «Смешного человека» у Достоевского: «Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было» (25, 105).

¹⁴ В другой раз (статья «О реалистах», 1907) Блок сочувственно цитирует критика А. Горнфельда: «Не только светлого Алешу Карамазова, но и Смердякова и Фому Опискина писал с себя мучитель — Достоевский», — и добавляет: «Это — первый и самый глубокий вывод Горнфельда» (т. 5, с. 125). отождествление литературного героя с автором произведения вообще характерно для критики этого времени и восходит к традиции, идущей от психологической школы.

¹⁵ *Максимов Д.* Поэзия и проза Ал. Блока. С. 289.

кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокоействе и тревоге, уже перестанет быть обывателем», — заявлял Блок (т. 6, с. 25). Достоевский был особенно близок ему своим беспокойством и тревогой, и эту сторону его таланта Блок особенно ценил.¹⁶

I. Дом и мир

Достоевский оказался непосредственным предшественником таких тем в искусстве рубежа веков, как разрушение и гибель традиционных устоев жизни, искажение и извращение окружающей человека среды. Тяга писателя к изображению безобразных, трагических сторон жизни была близка сознанию многих символистов, несмотря на весь их культ эстетического восприятия действительности. Достоевский был, как известно, писателем-урбанистом, соединившим в своем изображении города реалии бытовых подробностей с романтическим и символическим восприятием враждебной человеку и отчужденной от него среды. О близости Блока Достоевскому в разработке этой темы писали многие исследователи.¹⁷ Не останавливаясь на этой проблеме особо, отмечу, однако, что изображение города в поэзии Блока отличало его от многих современных поэтов. При всей любви Блока к Петербургу, а именно этот город был главным «героем» его урбанистических стихов, ему совершенно чуждо восхищение современным городом, достижениями цивилизации и технического прогресса. Электрические фонари, автомобили, асфальт, освещенные витрины, шумная толпа никогда не восхищали его в отличие, скажем, от В. Брюсова или И. Северянина. Стихов, вроде брюсовского «Приветствия», бодрых, жизнерадостных, энергично воспевающих красоту современного города:

Поблек предзакатный румянец.
На нитях серебряно-тонких
Жемчужные звезды повисли,
Внизу — ожерелье огней;
И пляшут вечерние мысли
Размеренно-радостный танец
Среди еле слышных и звонких
Напевов встающих теней, —

мы не встретим у Блока.

¹⁶ И. В. Корецкая, проанализировавшая пометы Блока в сочинениях Достоевского, отмечает, что больше всего привлекали внимание Блока моменты психологического анализа, изображение противоречий личности, душевной патологии, любовь—ненависть и т. п. Менее всего занимала его публицистика Достоевского и социальные мотивы его творчества. См.: *Корецкая И. В.* Блок о Достоевском. С. 24.

¹⁷ См.: *Анциферов Н.* Непостижимый город // Об Александре Блоке. Пб., 1921. С. 285—325; *Иванов-Разумник.* Петербург // Иванов-Разумник. Вершины. Пг., 1923. С. 165—167; *Орлов Вл.* Город Блока // *Блок А.* Город мой... Л., 1957. С. 5—48; *Мицц З. Г.* Блок и Достоевский. С. 220—225; *Соловьев Б. И.* Блок и Достоевский. С. 260—262.

Как и большинство представителей русской дворянской культуры, он очень недоверчиво относился ко всему, связанному с «буржуазным прогрессом». Его город — это место одиночества и страдания тысяч людей. Подобно Достоевскому, он изображает низменный быт городских окраин: дворы-колодцы, извивы переулков, фабричные корпуса, мутные каналы, и подобно Достоевскому, постигает таинственную сущность города, как бы прорастающую сквозь эту низменную видимость его. Блока, как и Достоевского, занимает не столько сам город с его огнями и грохотом, сколько человек, погруженный в эту среду. Он может сжиться с этой средой, даже полюбить ее, находить в ней своеобразную красоту (как мечтатель в «Белых ночах» Достоевского), но он не склонен преклоняться перед его технической мощью, перед достижениями цивилизации.¹⁸ Тема неустроенности человека, его внутреннего и внешнего неблагополучия, характерная для Достоевского, перерастает теперь в ощущение надвигающейся катастрофы. Эта катастрофичность сознания вообще характерна для искусства и мироощущения символизма. Особенно усилились эти настроения после первой русской революции (1905—1907), которая предстала перед многими как прообраз будущих глобальных катастроф. Д. С. Мережковский писал в статье «Семь смиренных» (1909), что революция представляет собой «перерыв» в эволюционном развитии истории, «то вторжение трансцендентного порядка в эмпирический, которое кажется „чудом“, а на самом деле есть исполнение иного закона, высшего, несоизмеримого с эмпирическим (...). В Апокалипсисе дано это, по преимуществу христианское, предельное и прерывное „катастрофическое“, революционное понимание всемирной истории».¹⁹

Такое мистическое истолкование исторического процесса, как и всех жизненных явлений, типичное для символизма, характерно и для Блока. «Во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва» (т. 5, с. 351), — писал он в статье «Стихия и культура» (1908). Ощущение неизбежной катастрофы как проявления высшего трансцендентального закона развития пронизывает не только традиционные темы любви, творчества, исторического пути России, но и темы, казалось бы, более камерные: судьба семьи, отношения поколений, развитие рода.

Тема семьи как тема частной жизни человека издавна рассматривалась в литературе как оппозиция теме общественной, в частности городской жизни. Семья издавна ассоциировалась с деревенской жизнью, жизнью на земле и близостью к природе. Этим вековечным народным устоям противостоял город как скопище пороков, символ слома, потери корней. Вспомним известную оппозицию — деревня—город в литературе сентиментализма.

¹⁸ Об отношении Блока к проблеме «цивилизация и культура» см. ниже.

¹⁹ Мережковский Д. Большая Россия. СПб., 1910. С. 102.

В XIX в. образ города в литературе, и прежде всего западной (Бальзак, Диккенс), усложняется и детализируется. Но все-таки он противопоставлен природе и деревне как враждебное человеку начало. И городская жизнь, городская семья знаменует возникновение новых взаимоотношений и утрату традиций. В русской литературе Достоевский первый осмысляет тему разложения старой семьи как тему историческую и даже философскую. И он хорошо осознавал свой приоритет в этой области.

В дореформенные времена сложилась дворянская культура и дворянская семья, связанная с бытом барской усадьбы. В конце XIX в. эта культура и этот быт все больше уходят в прошлое. Достоевский утверждал, что русские писатели, «изображавшие жизнь средне-высшего круга (семейного), (...) изображали жизнь исключений», в то время как сам он изображает «жизнь общего правила» (16, 329). И хотя критика обвиняла его в том, что он, сосредоточившись на болезненных и мрачных сторонах жизни, дает лишь волю своей фантазии, Достоевский был убежден, что он верно подметил новые явления. «В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее; правда будет за мною» (16, 329). Он осознавал себя провидцем, пророком, показывая такие явления, как распространение «случайных семейств», заброшенных детей, непрочных связей. В большей степени это касается простого народа, где на смену патриархальной деревенской семье пришла жизнь фабричных с их случайными, беспорядочными связями, детьми, рожденными «в подвалах», становящимися беспризорными «Гаврошами» (см. «Земля и дети» (23, 95—96)). Правда, Достоевский считал, что в виде исключения сохраняется еще семья «средне-высшего круга», описанная Львом Толстым. Только вернее будет показать, как разложение и гибель устоев касается и этих слоев общества, что он и сделал в «Подростке» и «Братьях Карамазовых».

«Пророчества» Достоевского сбылись вполне. В начале XX в. все деятели культуры осознали и осмыслили гибель старых устоев, разложение моральных норм, перерождение семьи.

Ностальгически вспоминали они о старой дворянской культуре, породившей прекрасные семьи с культурными традициями. Н. А. Бердяев писал в книге об А. С. Хомякове, что он, как и другие славянофилы, отличался от последующих поколений русских мыслителей своей цельностью, которая объяснялась его связью с землей, со своими корнями. Никакой раздвоенности, трагического сознания, эсхатологических предчувствий, ощущения конца у славянофилов не было.²⁰ Подобные мысли высказывал М. О. Гершензон в статье о П. В. Киреевском: «Они (славянофилы. — А. А.) все вышли из старых и

²⁰ См.: Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 76.

прочных, тепло насиженных гнезд. На тучной почве крепостного права привольно и вместе закономерно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питались ее соками, вершинами достигая европейского просвещения, по крайней мере, в лучших семьях (...). Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому что мы вырастаем совершенно иначе — катастрофически».²¹

Писатели начала XX в., говоря о цельности славянофилов и вообще дворянской культуры первой половины XIX в., конечно, преувеличивали эту цельность, идеализировали дворянский быт, как обычно всегда идеализируют прошлое, противопоставляя его «хаосу» современности. Но важно подчеркнуть, что катастрофичность и хаотичность своего времени они осознавали очень глубоко. «Мы живем в эпоху разложения быта и не знаем уже бытового уюта», — подчеркивал Бердяев.²²

Точно так же осознавал свою жизнь и Блок. «Мы бездомны, бесемейны, бесчинны, нищи, — что же нам терять?» — писал он позднее в статье «Интеллигенция и революция» (т. 6, с. 18). Но эту бездомность и бесемейность своего поколения Блок ощутил значительно раньше. В статье «Безвременье» (1906) он посвятил теме гибели семьи и детства первый раздел «Очаг», в котором сопоставил «Мальчика у Христа на елке» Достоевского с «Ангелочком» Л. Андреева. Старый семейный праздник — Рождество — дает особые основания рассуждать о крахе прежних отношений. Достоевский, по словам Блока, «уже предчувствовал» этот крах: «Затыкая уши, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услышать и увидеть, он все-таки слышал быструю крадущуюся поступь и видел липкое и отвратительное серое животное».²³ Отсюда — его вечная торопливость, его надрывы, его „Золотой век в кармане”» (т. 5, с. 66—67). И, показывая замерзающего мальчика, он все-таки дает ему картину нормального Рождества, увиденную сквозь окно и показавшейся настоящим раем. Современный писатель, Л. Андреев, идет дальше Достоевского. Он вводит своего мальчика, Сашку, внутрь этого «рая», на барскую елку, и оказывается, что там «положительно нехорошо». Там торжествует пошлость, «свойственная большинству семейных очагов». Подводя итоги своим рассуждениям о вырождении и разложении современной интеллигентной, буржуазной семьи, семьи «средне-высшего круга», как определил бы Достоевский, Блок восклицает: «Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага. Необозримый, липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вече-

²¹ Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1911. Нов. сер. Вып. 1. С. 1.

²² Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 17.

²³ Здесь и в других местах статьи Блок использует образ Достоевского — сладострастную паучину.

ра — все заткнуто паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» (т. 5, с. 70).

Дальнейшим развитием этой темы, и опять же с опорой на Достоевского, стала для Блока поэма «Возмездие». Исследователи обычно связывают этот замысел с пушкинской традицией,²⁴ с намерением создать «роман в стихах». Действительно, «Возмездие» замышляется как эпическое произведение с широким историческим фоном, «с бытом и фабулой»,²⁵ как преодоление исключительно лирического начала. Однако еще значительнее сказалось в поэме воздействие Достоевского.

Достоевский присутствует здесь и чисто внешним образом: в первой главе поэмы описывается его эпоха — 70-е годы, и сам он появляется среди действующих лиц в салоне Вревской, под именем которой Блок изобразил А. П. Философову. А в «Матерьялах для поэмы» содержится сцена похорон Достоевского, описанных в значительной части по семейным преданиям (см.: т. 3, с. 445).

Но влияние Достоевского ощущается и в самой художественной ткани поэмы. В описаниях Петербурга, такого прозаического и будничного на первый взгляд и такого таинственного, величественного и страшного в своей подлинной сути, несомненны переключки с Достоевским. Ориентация на него видна в изображении главных героев, их противоречивой, сложной, изломанной психики, а также в ряде сюжетных ходов.

Поэма должна была воссоздать историю рода, историю одной семьи в лице трех поколений, что давало повод изобразить жизнь России на протяжении нескольких десятков лет, показать основные исторические события, изменения быта, нравов, общественных настроений. В центре поэмы — интеллигентная дворянская семья. Блок как бы воспользовался программой, предложенной Достоевским. В эпилоге «Подростка» воспитатель Аркадия Долгорукого, Николай Семенович, заявляет: «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. (...) Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в „Преданьях русского семейства“, и, поверьте, что тут действительно все; что у нас было доселе красивого. По крайней мере тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. (...) Тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде

²⁴ См. Долгополов Л. К. Поэма Блока и русская поэма конца XIX—начала XX в. М.; Л., 1964. С. 80—87. Аллен Л. Столкновение жанров в поэме Блока «Возмездие» // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 189—197.

²⁵ По воспоминаниям Надежды Павлович. См.: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 398.

на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато» (13, 453). Однако и Николай Семенович вынужден признать, что красивые формы дворянской культуры теперь уходят в прошлое. И если раньше юноши из случайных семейств или разночинцев стремились примкнуть к высшему культурному слою, слиться с ним и часто достигали этого, то теперь мы наблюдаем другое явление. «Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто обратное изображенному выше. Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселой торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими» (13, 454). И поэма Блока, действие которой начинается как раз в эпоху «Подростка», оказалась изображением не «законченных красивых форм» дворянского семейства, а именно того, как «отрываются, с веселой торопливостью, куски и комки» от дворянского целого. Блок был одновременно и носителем наследственных культурных ценностей, и человеком, ощущавшим кризис этих ценностей, их несостоятельность в новую эпоху. Дворянское происхождение Блока глубоко чувствовал «разночинец» Корней Чуковский, который в своих воспоминаниях о поэте подчеркивал его «благополучное» барское детство, влияние на него семьи, традиций рода, противопоставляя происхождение «укорененного» Блока своему «случайному» происхождению. К. И. Чуковский, как в свое время Аркадий Долгорукий, тяжело переживал свою «незаконнорожденность» и считал семью Блока, детство его каким-то недостижимым раем. «У нас не было подмосковной усадьбы, где под столетними дворянскими липами варилось бесконечное варенье, таких дедов и прадедов, такой кучи игрушек, такого белого и статного коня... Блок был последний поэт-дворянин, последний из русских поэтов, кто мог бы украсить свой дом портретами дедов и прадедов.

Барские навыки его стародворянской семьи были облагорожены высокой культурностью всех ее членов, которые из поколения в поколение труженнически служили наукам, но самая эта преемственность духовной культуры была в ту пору привилегией дворянских семейств — таких, как Аксаковы, Бекетовы, Майковы. Разночинец подростком уйдет из семьи, да так и не оглянется ни разу, а Блок до самой смерти дружил со своей матерью Александрой Андреевной, переживал вместе с нею все события своей внутренней жизни».²⁶

Конечно, многое верно подмечено Чуковским в этой характеристике, но семейство Блока здесь идеализируется, как идеализировались дворянские семьи первой половины XIX в. в представлении писателей-декадентов. Чуковский забывает, что Блок был дитя уже разлагающейся семьи. Развод родителей, неудачный второй брак матери, натянутые отношения с отчимом,

²⁶ Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 230.

разлад поколений в семье Бекетовых — все это явления кризисной катастрофической эпохи, которая и стала предметом изображения в «Возмездии».

В подготовительных материалах к поэме Блок подробно характеризует и эпоху, в которую начинается действие (конец русско-турецкой войны 1877—1878 годов; «Народная воля», «1-е марта»), и те сдвиги, которые наступают в общественном сознании: «Приготавливается индивидуализм, это значит старинное „общественное“ (миродержание) отпускается с миром, просыпается и готов зашуметь *народ*» (т. 3, с. 463).

Семья деда как бы продолжает жить по старым законам. В «священном» кабинете «профессора лучших времен Петерб(ургского) университета» «вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы», «а на другом конце квартиры веселится молодежь. Молодая мать, тройки, разношерстные молодые люди — и кудластые студенты, и молодые военные» (т. 3, с. 463, 464). Будущий же герой поэмы одинаково далек и от деда, и от матери. Он с няней читает детские книжки. «Ребенок не замешан, — отмечает Блок, — спит в кроватке, чисто и тепло» (т. 3, с. 464).

Но семья уже расколота, разъедена индивидуализмом, который принес сюда «демонический» отец героя и в полной мере унаследовал герой.

Изображая свои отношения с отцом (автобиографический момент очень сильно ощущается в поэме), Блок как бы опять вспоминает Достоевского и проецирует жизнь своей семьи на жизнь «случайного семейства», изображенного в «Подростке». Действительно, отношения Аркадия Долгорукого и Версилова поразительно напоминают описанную Блоком в «Возмездии» ситуацию:

Отец от первых лет сознания
В душе ребенка оставлял
Тяжелые воспоминанья —
Отца он никогда не знал.
Они встречались лишь случайно,
Живя в различных городах,
Столь чуждые во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных).
Отец ходил к нему, как гость,
Согбенный, с красными крутами
Вкруг глаз. За вялыми словами
Нередко шевелилась злость...
Внушал тоску и мысли злые
Его циничный тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум.
(А думы глупые, младые...)
И только добрый льстивый взор,
Бывало упал украдкой
На сына, странную загадкой
Врываясь в нудный разговор.

(т. 3, с. 336—337).

Поражает, конечно, не внешнее сходство судеб героев Блока и Достоевского, а их психологическая характеристика: мечты сына и цинизм отца, внешняя разобщенность, далекость их друг от друга и внутреннее тяготение и т. д.²⁷

Обращение к Достоевскому не случайно. Вписывая свою семейную историю в широкий исторический фон (см. обширные материалы к поэме, зафиксированные в черновых тетрадях Блока 1911—1913 годов и частично реализованные во «Вступлении» и других местах «Возмездия»), Блок ставил перед собой задачу не воспроизведения «семейной хроники», а создания эпического художественного отражения эпохи перелома и гибели старого мира. Отсюда и название поэмы: возмездие осуществляют люди следующих поколений, неизбежно приходящих на смену отживающим родам.

Блок ощущал окружающую его жизнь и происходящие события как творящуюся на глазах историю, а себя как историческую личность.²⁸ Поэтому замышляемый «автобиографический» «роман в стихах» должен превратиться в широкое историческое полотно. И тема разложения интеллигентной семьи «средне-высшего круга», воспринятая от Достоевского, должна была получить у Блока более широкое толкование. И хотя замысел не был полностью осуществлен и поэма не была закончена, общее представление о «философии» этой проблемы у Блока нам дают и написанные главы «Возмездия», и материалы к нему.

Достоевский, отметивший гибель прежней семьи как исторический факт, как знамение определенной эпохи, все-таки был убежден в абсолютной ценности семейных отношений. И верил, что на смену распадающейся, отживающей семье неизбежно придут новые, добрые и красивые человеческие связи. «У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах» (25, 35). «Семья ведь тоже *созидается*, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. Тогда только это и крепко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустанным трудом любви» (22, 69—70). Мечта о здоровой, основанной на любви, народной семье не оставляла Достоевского. Полагая, что отмена крепостного права и предоставление всем бывшим крепостным надела земли снимает острые социальные противоречия в России, он также надеялся, что это создаст предпосылки для новой здоровой семьи и что дети будут родиться

²⁷ Подробнее см. в моей статье: «Подросток» в творческом восприятии Александра Блока.

²⁸ См.: Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. С. 6—17. Исупов К. Г. Историзм Блока и символистская мифология истории // Александр Блок. Исследования и материалы. С. 3—21.

и вырастать на земле («в Саду»), а не на мостовой (см. «Земля и дети», 23, 95—99).

Однако если пророческие предсказания Достоевского относительно разложения и гибели современного социального и семейного уклада в полной мере оправдались, то с его утопическими воззрениями дело обстояло сложнее.

Блока отделяло от Достоевского одно поколение. Многие прояснилось за эти годы, но многое еще больше осложнилось и запуталось. Никакого оптимизма, свойственного еще Достоевскому, у людей «катастрофического» времени не осталось. Отношение Блока к проблеме истории развития рода было тесно связано с его философией истории. В распаде семьи, гибели рода он видел неизбежную закономерность, связанную с общим ходом человеческого развития. В подготовительных материалах к «Возмездию» он писал: «На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли — укором, тревогой, мятежом. М(ожет) б(ыть), они хуже остальных, м(ожет) б(ыть), они сами осуждены на погибель, они беспокоят и губят своих, но они — *правы* новизною. Они способствуют выработке человека. Они обыкновенно сами бесплодны. Они — последние. В них все замыкается, им нет выхода из собственного мятежа — ни в любви, ни в детях, ни в образовании новых семей. Хотя они разрывают с семьей, но разрывают тем и ее. Они любимцы, баловни, если не судьбы, то семьи. Они всегда „демоничны“. Они жестоки и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они — едкая соль земли. *И они — предвестники лучшего*» (т. 3, с. 464).

Гибель «мятежных отраслей», влекущая за собой и гибель всего рода, так как они — «последние», не ведет к окончанию жизни, а лишь к ее изменению и обновлению. Их гибель — залог того, что возродившаяся новая жизнь, усвоившая трагический опыт предыдущего, будет «лучше». Истинно: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн, XII, 24).

Размышления Блока связаны с разделявшейся им философией анамнезиса (припоминания) или повторения, которая получила широкое распространение среди символистов. «Старая концепция вечного возврата, примиряющая время и вечность, на рубеже XIX—XX вв. стала мировоззренческой сенсацией, — отмечает К. Г. Исупов. — Символизм с той же охотой варьировал идею вечного возврата, с какой и спорил с ней».²⁹ События рассматриваются по аналогии с уже бывшими, одна эпоха рифмуется с другой, факт вызывает припоминание подобного факта. Так и современность имеет основание отобразиться в будущем. Конец одного рода вызывает зарождение другого. По замыслу Блока, «Возмездие» завершается изображением сына героя, рожденного в Польше простой крестьянкой. Он — представитель

²⁹ Исупов К. Г. Историзм Блока... С. 7.

иного класса и основатель иного рода — и вершит возмездие над уходящим в прошлое дворянским либерализмом.

Так от темы семьи Блок переходит к философскому осмыслению исторического процесса. При этом он припоминает идеи и образы Достоевского, использует их и полемизирует с ними.

II. Образы России

В начале XX в., особенно после революции 1905 года, становится снова необычайно актуальной унаследованная от XIX в. тема «интеллигенция и народ».

Оказалось, что никаких существенных перемен в отношениях между ними не произошло со времен «великой реформы». В свое время на отмену крепостного права огромные надежды возлагали многие, в том числе Достоевский, видевший в освобождении крестьян основу для единения нации. «Цивилизация не развила у нас сословий, — писал он в 1861 году, — напротив, замечательно стремится к сглаживанию и к соединению их воедино. (...) Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь, покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает предчувствоваться наше будущее» (19, 19).

Писатель был убежден, что только развитие народного образования поможет осуществить «идеал этого слияния сословий воедино» (там же). И несмотря на то что он прекрасно видел все язвы и противоречия послереформенной жизни, Достоевский верил в правильность нового пути России. В апрельском выпуске «Дневника писателя» 1876 года он утверждал, что если в Западной Европе растущий протест «огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих» расшатывает и ослабляет современные «великие державы», то у нас все происходит иначе: «В России же этого не может случиться совсем: наш демократ доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласиём» (22, 122).³⁰

Оптимистические предсказания Достоевского, в которые он сам вряд ли верил вполне, не сбылись. Ни десятилетия пореформенной жизни, ни революция 1905—1907 годов не сблизили классы и сословия, а только еще больше обострили противоречия между ними. Символисты полностью ощутили эту проблему, посвятив ей множество художественных и публицистических сочинений. Подходили же они к ней не с социологических или экономических позиций, но ощущали ее как проблему духовную, религиозную, мистическую. Необычайно важна эта проблема для Блока. «Центральное, наиболее устойчивое место в публицистике

³⁰ Это заявление вызвало протест многих демократически настроенных читателей «Дневника писателя». Об отзывах Х. Д. Алчевской и В. К. Стукалича см.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 1995. Т. 3. С. 95, 215.

Блока, — писал Д. Е. Максимов, — занимает *вопрос о взаимоотношениях народа (России) и интеллигенции*. Блок называет этот вопрос „важнейшим” для него и „наисущественнейшим”. Это — ключевая тема всех прозаических сочинений Блока». ³¹ После революции 1905—1907 годов эта тема стала ведущей во всем творчестве поэта.

Отношение Блока к революции, к будущему России было романтическим и максималистским, но в то же время достаточно туманным. Он не столько *осознавал*, сколько *ощущал* необходимость перемен. В записной книжке 1909 года он так выразил эти свои ощущения: «Я (мы) не с теми, кто за старую Россию (Союз русского народа, сюда и Розанов!), не с теми, кто за европеизм (социалисты, к.-д., Венгеров, например), но — за *новую Россию*, какую-то, или — за „никакую”. Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, чем Европа, — *культуры* же нам не дожидаться. Это и *есть ОПЯТЬ* — песня о „новом гражданине” (какого пророчили и пророчат — например *Достоевский*, но пророчат не на деле, а только в *песне*)». ³²

Известно, что настроения Блока в 1908—1912 годах были близки неонародничеству и своеобразному «почвенничеству». ³³ Отсюда и мысли об особом пути России, и неприятие «европеизма», и припоминание Достоевского. Однако отвлеченный романтизм Блока не лишает его определенного скепсиса: мысль о «новом гражданине» — это все-таки только мечта, «песня», и исторический оптимизм Достоевского не разделяется Блоком.

Его представления этих лет о будущем России, народа и интеллигенции тревожны и вместе трагичны. В докладе «Народ и интеллигенция», прочитанном в ноябре 1908 года, Блок говорит об интеллигенции и народе как о двух противоположных и даже враждебных началах. Впрочем, враждебность исходит только с одной стороны — со стороны народа. Интеллигенция же «с екатерининских времен» отличается «народолюбием» — собирает и изучает фольклор, издает народные песни, сказки и легенды, исследует мифологию и обрядность, представляет ее ходят в народ, даже «погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело» (т. 5, с. 322). Но со стороны народа нет никакого встречного движения, лишь молчание, легкая усмешка «себе на уме». Не только «два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтора миллиона с одной стороны и несколько сот тысяч с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном» (т. 5, с. 323). Конечно, представления Блока опирались на столетнюю традицию, согласно которой интеллигенция страдала от своего разрыва с

³¹ Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 341.

³² Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 154. В дальнейшем — сокращенно: ЗК с указанием страницы в тексте после цитаты.

³³ См.: Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 346—348.

народом и испытывала чувство вины. Вероятно, помнил он и призывы Достоевского к «народности» и «преклонению перед правдой народа русского» (26, 114). «Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1877 года. — Но народу *надо*, чтоб его не за одни страдания любили, а чтоб полюбили и *его самого*. Что же значит *полюбить его самого*? „А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту“, — вот что это значит и вот как вам ответит народ, а иначе он никогда вас за своего не признает...» (26, 115).

Однако Блок не был согласен с такой постановкой вопроса. Хотя он и признавал в народе некую цельность и здоровое начало (в интеллигенции — «воля к смерти», а в народе — «воля к жизни» (т. 5, с. 327)), поэт был далек от его идеализации. «Не значит ли понять *все* и полюбить *все* — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, — не значит ли это *ничего* не понять и *ничего* не полюбить?» (т. 5, с. 322) — как бы возражает он Достоевскому.

Отношение Блока к народу при всей романтической отвлеченности никогда не было ни сентиментальным, ни однозначно восторженным. С годами оно становилось трезвее и критичнее. К. И. Чуковский привел в своих воспоминаниях ответы Блока на предложенную Чуковским ряду писателей анкету о Некрасове. На вопрос анкеты: «Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?» — Блок ответил: «Оно было неподдельное и настоящее, то есть двойственное (любовь-вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле».³⁴ Двойственное отношение к народу было и у самого Блока. И в народе он видел те противоречия, которые умел подмечать во всех явлениях жизни. Никаких иллюзий о возможном сближении интеллигенции и народа не было у Блока ни в 1908 году, ни позднее. Вместе с тем он понимал, что ни о какой лени и спячке народной уже не может быть речи. «Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, не похожим на смешанный городской гул» (т. 5, с. 327). Эта еще не оформленная, но уже звучащая «музыка» народного протеста, эта стихийная мощь как бы прорастающая из-под земли чутко ощущалась Блоком. В статье «Стихия и культура» (декабрь, 1908) он сравнивал эту неведомую силу с разрушительной мощью мессинского землетрясения. «Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под „очерпевшей лавы“? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это — очистительный огонь?»

³⁴ Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 235.

Так или иначе — мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*» (т. 5, с. 3).

Несет ли народная стихия гибель или спасение России, еще не ясно, но то, что она несет гибель интеллигенции, не вызывает сомнений у Блока. Окончание доклада «Народ и интеллигенция», где Блок вспоминал образ гоголевской тройки, говорит об этом. «Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть „чудный звон“ колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух“, — *летит прямо на нас?* Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель» (т. 5, с. 328).

Ощущение трагизма связано с тем, что предстоящая гибель не только неизбежна, но и закономерна. В этом проявлении мирового закона истории, ее «возмездие».

В чем же может найти поэт нравственную опору? Блок нашел ее в любви к родине, к России. «Идея России прочно овладела его сознанием, — отмечал Л. К. Долгополов, — причем это была именно идея, то есть обобщенное и символическое представление о предмете».³⁵ Эта отвлеченность и в какой-то степени мифологизированность представлений о России сближает Блока с Достоевским несмотря на разницу их позиций. В произведениях Достоевского мы находим два символических образа: Россия и русский народ. Иногда они объединяются, но это разные образы. Россия персонифицирована и предстает то как мудрая мать, способная объединить вокруг себя многие народы, причем объединить добровольно, на основе любви. То она выступает в роли провозвестницы мира и справедливости. Политика ее всегда благородна и бескорыстна, Россия служит другим народам, не думая о собственных интересах. «Выгода России именно (...) пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушать справедливости» (23, 45). Россия служила «чаще чужим интересам» (там же), ее характеризует «почти братская любовь (...) к другим народам», «потребность (...) всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам» (23, 47). Но европейские государства не понимают этого бескорыстия и глядят на нас «всегда недоверчиво, подозрительно и ненавистно» (23, 45). И все-таки Россия скажет свое слово другим народам, и это слово — любовь и примирение. Россия даст миру великий нравственный образец. «Наше назначение быть другом народов. Служить им, тем самым мы наиболее русские. Все души народов совокупить себе» (24, 185), — писал Достоевский. Мессианская роль России определена тем, что Россия — носительница верных истин. Истины эти в право-

³⁵ Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. С. 86.

славии, которое одно лишь сохранило чистый, неискаженный образ Христа, воплощавший, по Достоевскому, идеал добра и красоты.

Но при всем том идея России и ее великой миссии соединялась у Достоевского с идеей государственного интереса. Отсюда его речи о единении славян вокруг русского царя, о том, что рано или поздно Константинополь должен быть наш, и т. п. Символисты, развивавшие идеи Достоевского, в этом пункте не были его последователями. Так, Вячеслав Иванов в статье «О русской идее» (1909), прямо заявлял: «Ложным становится всякое утверждение национальной идеи только тогда, когда неправое связывается с эгоизмом народным или когда понятие нации смешивается с понятием государства».³⁶ Для него национальная идея есть «некий строй характеристических моментов народного самосознания» в связи с мировыми «вселенскими» процессами и «во имя свершения вселенского».³⁷ Достоевский не давал определения национальной идеи, но связывал ее с мессианской ролью России.

Образ русского народа в трактовке Достоевского выглядит более сложным и противоречивым. Народ носит в сердце своем Христа, он тверд и спокоен, он верит в свое будущее, он «спасет себя и нас». Достоевский всегда стремился подчеркнуть чувства любви, сострадания в простом народе, будь то «мужик Марей», успокоивший напуганного барчонка, русские крестьяне, жертвующие свои копейки на православных братьев-славян, или русские солдаты, помогающие на поле битвы раненым врагам раньше, чем своим.

Однако этому народу присущи не только светлые черты. Стремление дойти до самого края во всем таит в себе противоположные «темные» стороны. «Это прежде всего забвение всякой меры во всем (...). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой» (21, 35). Достоевский видит в народе «потребность отрицания» всех святынь, стремление к дерзости, проявляющееся и в пьянстве, и в разбое, и в способности совершить смертный грех. И он создал образы таких грешников из народа: это крестьянский парень, надругавшийся на причастием («Влас»), купец Скотобойников («Подросток») и отчасти Рогожин («Идиот»). Однако в простом народе, считал Достоевский, есть понимание греха и способность к покаянию, спасению своей души, которая отсутствует у оторвавшихся от народа «образованных» грешников (Ставрогин).

Эти представления Достоевского о русском национальном характере в значительной мере повлияли на формирование взгля-

³⁶ Иванов Вяч. По звездам. С. 316.

³⁷ Там же.

дов Блока. Символический и поэтический образ России, им созданный, вобрал в себя те черты, которые были подмечены в народе Достоевским: «потребность хватить через край» и «заглянуть в самую бездну».

Как и у Достоевского, Россия Блока персонифицирована. Но это не мудрая и справедливая мать, жертвующая собой во имя высших идеалов и несущая другим народам свет истины. Чаще всего она является у Блока в образе гордой и независимой женщины, стремящейся к свободе, но в то же время дикой, хмельной, запутавшейся и потерявшей дорогу.

Изображение России в виде прекрасной, но несвободной женщины имеет традицию в русской литературе. И восходит она к Гоголю. Именно он в «Страшной мести» изобразил красавицу Катерину, обманутую и плененную злым старым колдуном. Образ этот был позднее истолкован как символический и вызвал разные интерпретации. Как изображение заколдованной и погруженной в сон России рассматривает образ гоголевской Катерины Андрей Белый в статье «Луг зеленый» (1905). Но статью свою Андрей Белый заканчивает оптимистическими пророчествами. Он верит, что заколдованная Россия проснется и сбросит наваждения колдуна. «Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмеваешь чудовище в огненном жупане: проснись и даны тебе будут крылья большого орла, чтоб спастись от страшного пана, называющего себя твоим отцом».³⁸ Как ни отвлечены образы и толкования А. Белого, его призывы сбросить иго «оборотня» «Змея Горыныча» в 1905 году звучали вполне понятно для читателя.

Образы Гоголя и А. Белого по-своему интерпретировал Блок. В его лирике Россия тоже уподобляется спящей красавице, заколдованной царевне из сказки, рядом с которой мерещится страшный колдун.

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь,
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена.
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна...

(Русь, 1906, т. 2, с. 106)

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

³⁸ *Белый А.* Луг зеленый: Книга статей. М., 1910. С. 17.

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

(Россия, 1908, т. 3, с. 254)

Эти же образы повторяются и в поэме «Возмездие», во вступлении ко 2-й главе, где в облике страшного колдуна, простершего «совиные крыла» над Россией, выступает К. П. Победоносцев.

Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стежанным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она,
Заслав надежды, думы, страсти...
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...

(т. 3, с. 328)

Но злой колдун сумел лишь на время исказить ее облик, и она проснется. Блок, слышавший, как «тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом» (т. 5, с. 327), чаще видел другую Россию. О другой, будущей России грезил и Достоевский, когда говорил о ее мессианском назначении, о той России, которая оформится и сложится в результате реформ Александра II.

Прошло еще полвека, и современники Блока по-прежнему тоскуют о будущей России. «Верю в Россию. Она будет, — так заканчивал свою статью „Луг зеленый” Андрей Белый. — Мы будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия — большой луг, зеленый, зацветающий цветами. (...) Верю в небесную судьбу моей родины, моей матери».³⁹

Вера в будущую Россию характерна и для Блока. Уже позднее, в 1917 году, когда самодержавие было свергнуто и Россия вступила на революционный путь, Блок сделал в записной книжке важное признание: «Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться. Ал. Блок. 22. IV. 1917» (ЗК, 318). Запись так и сделана: с подписью и датой, вероятно, как главный тезис, который надо особо подчеркнуть и отметить. И все же неясно, чего здесь больше — светлой радости или глубокой печали?

Что же касается России современной, то она, даже готовая проснуться, даже проснувшись, не видит впереди ясной дороги и не знает, куда идти. Во второй части статьи «Безвременье», озаглавленной «С площади на „Луг зеленый”», чем подчеркнута

³⁹ Там же.

ориентация на известную статью Андрея Белого, Блок дает метафорический и символический образ современного поколения, окончательно заблудившегося и утратившего цель. Не только современный город, в котором отпылали очаги, потухли окна и распахнулись на площадь двери, в котором «дни все громче от криков, от машущих красных флагов» (т. 5, с. 7), стал непригодным местом для осмысленной нормальной жизни. Но и за городом, на «бескрайних равнинах России» видит Блок не «луг зеленый, зацветающий цветами», а заброшенные дома бывших барских усадеб, на месте которых «разрастаются торговые села, зеленеют вывески казенной винной лавки, растут серо-красные постоянные дворы. Все это, наскоро возведенное, утлое, деревянное, — больше не заграждает даль. И сини дали, и низки тучи, и круты овраги, и сведены леса, застилавшие равнины, — и уже нечему умирать и нечему воскресать. Это быт гибнет, сменяясь безбытностью» (т. 5, с. 73).

Блок не видит в этом мире никакой укорененности, связи с землей, традицией, трудом. Не говоря уже об оторвавшихся от народа интеллигентах, нищих духом бродягах, «праздных и бездомных шатунах» (т. 5, с. 71), всеобщее бродяжничество, брожение, охватило всю Россию, весь народ. Унылый пейзаж «Безвременья» («крутые овраги», «груды щебня и пласты родной глины по краям шоссе» «и еще дальше как рукавом машут рябины, все осыпанные красными ягодами» (V, 74)) соответствует общему состоянию тоски и безысходности, охватившему всю Россию. Ей «уже нечего терять; всю плоть свою она уже подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс по всему своему бесцельному непридуманному раздолью. <...> Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни...» (т. 5, с. 74). Образы эти перекликаются с лирикой Блока. В «Осенней воле» (1905) тот же пейзаж:

Битый камень лег по косягорам.
Желтой глины скудные пласты.

Но густых рябин в окрестных селах
Красный цвет зареет издали.

(т. 2, с. 75)

Изображение России в виде пляшущей женщины не раз повторяется у Блока.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

(там же)

Иногда подчеркивается ее вольная дикость, красный цвет (то рябин, то зари, то пожара) является ее атрибутом.

Прискакала дикой степью
На вспененном скакуне.
«Долго ль будешь лязгать цепью?
Выходи плясать ко мне!»

Рукавом в окно мне машет,
Красным криком зажжена,
Так и манит, так и пляшет,
И ласкает скакуна.

(т. 2, с. 86)

Подчас женские черты сливаются с описанием пейзажа в единый образ:

А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

(т. 3, с. 254)

Россия, Родина для Блока ассоциируется не с традиционным образом матери, а с образом жены, невесты, возлюбленной. Причем характер ее изломанный и капризный, поступки непредсказуемы. Она во всем, и в любовной страсти, и в стремлении к воле, способна «дойти до черты», «хватить через край», «заглянуть в самую бездну». Вполне вероятно, что такие характеры и формы поведения были присущи реальным знакомым поэта — женщинам декадентской богемы, но несомненно также, что литература, и поэзия Блока не в последнюю очередь, сформировала новый образ и повлияла на поведение его современниц.

В этом литературном образе мы легко найдем черты, восходящие к женским образам Достоевского.

Уже в «Хозяйке», связанной с романтическими образами Гоголя, прежде всего со «Страшной мезьей»,⁴⁰ Достоевский создал символический образ женщины — прекрасной, но недоступной, окруженной какой-то тайной, не то плененной, не то заколдованной. И зовут героиню «Хозяйки» так же, как и героиню «Страшной мести», — Катерина. Видимо, Достоевский, как и позднее символисты, почувствовал огромную обобщающую силу образов «Страшной мести». Недаром позднее многие его знаменитые героини повторяют и развивают заложенные в «Хозяйке» коллизии. Женские образы Достоевского выступают, как уже не раз отмечалось исследователями, как бы в двух ипостасях. Одна из них — «инфернальная» женщина, объект роковой и неудовлетворенной страсти героя. Она прекрасна, но вместе с тем жестока, капризна, горда и недоступна (по разным причинам). Таковы Полина («Игрок»), Настасья Филипповна («Идиот»), Ахмакова («Подросток»), Грушенька («Братья Карамазовы»). Это женщины страстные, темпераментные, жаждущие свободы и независимости, спо-

⁴⁰ См.: Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь: (К теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 199—200.

собные на бунт, но тем не менее несвободные, находящиеся в плену социальных предрассудков или материальной зависимости.

Другой тип женщин у Достоевского — это женщины внешне кроткие и смиренные, но твердые в своих убеждениях. Это Соня Мармеладова, Марья Лебядкина в «Бесах», мама в «Подростке», отчасти Лизавета Смердящая из подготовительных материалов к «Подростку», во многом сходная с образом Хромоножки — Марьи Лебядкиной. Все эти женщины угнетены и унижены, часто их прекрасный облик искажен внешним убожеством, уродством (Хромоножка, Лизавета Смердящая). В них главное — сила духа и отсутствие той изломанности и непредсказуемости, которая характеризует «инфернальных» героинь Достоевского.

Примечательно, что в конце своего творческого пути, в «Братьях Карамазовых», Достоевский создает образ, в котором обе эти ипостаси как бы сливаются. Капризная и порочная Грушенька идет путем Сони Мармеладовой: не только едет с Митей на каторгу, но и помогает ему обрести свою душу, и сама преодолевает все пути и наваждения, в том числе власть богатого старика (колдуна), и воскресает для новой жизни. Спасение свое она находит не во внешнем освобождении от социальных пут, а в способности к страданию и состраданию, т. е. в освобождении внутреннем.

Конечно, создавая эти образы, Достоевский не стремился отождествлять их с Россией, делать из них какую-то аллегория. Однако, несомненно, что образы Катерины, Сони, Хромоножки, мамы имеют широкое символическое значение. В них представлены характер народа, его идеалы и верования, его нравственные устои.

В творчестве Блока семантика женских образов расширилась. Чаще мы встречаем у него героинь, которых можно было бы сблизить с «инфернальными» образами Достоевского. Это Незнакомка (героиня одноименной драмы),⁴¹ лирическая героиня «Снежной маски», Фаина из «Песни судьбы». Образ гордой, свободной, не связанной предрассудками женщины не всегда ассоциируется с образом Родины (например, в цикле «Кармен»), но часто это именно так. И ближе всего к символическому образу России героиня «Песни судьбы» — Фаина.⁴² О сходстве ее с образом Катерины в «Хозяйке» Достоевского писала З. Г. Минц.⁴³

Но в поэзии Блока есть и другая ипостась России — Родины, связанная с соловьевским учением о Мировой Душе, Вечной Женственности. Это образ высокий, чистый и светлый, отождествляющийся то с Прекрасной Дамой, то с Богородицей. Он воплощается в разных героинях блоковской лирики: в юной невесте, царевне, ждущей в лесном тереме своего жениха (или

⁴¹ Дополнительным указанием на сходство ее с Настасьей Филипповной являются эпитафии к драме, взятые из «Идиота».

⁴² Подробнее см. в моей статье: «Подросток» в творческом восприятии Александра Блока.

⁴³ См.: Достоевский и его время. С. 238—240.

королевне, чей рыцарь ушел в поход); в бедной и убогой женщине (инокини) строгой жизни; в верной подруге, способной успокоить страдания и сомнения лирического героя; в обычной (и необычной в то же время) горожанке, ведущей за ручку своего ребенка и, наконец, в возвышенном образе Мировой Души, Вседержительницы, вдохновительницы поэта. И хотя количественно героини этого типа уступают бурным и мятежным, как бы «ночным» образам женщин, в поэтическом сознании Блока эти светлые героини также отождествляются с образом Родины.

И все эти черты различных женских характеров сошлись в едином образе России гениального блоковского цикла «На поле Куликовом» (1908). Пять стихотворений цикла развивают историческую концепцию «вечного возвращения», повтора, анамнезиса.⁴⁴ С. П. Ильев убедительно показал, что главная мысль цикла не в изображении борьбы с врагом внешним (татарами), хотя и эта тема присутствует, и не в осознании противостояния, раскола в русском обществе (интеллигенция—народ), как в статье «Народ и интеллигенция», написанной в том же году, — главная оппозиция — в душе лирического героя, осознающего свою «темную» греховность и стремящегося к «светлой» правде.

Эта оппозиция, внутренняя борьба, претерпевает определенное развитие, что и составляет сюжет цикла. Первое стихотворение «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» больше всего связано с темой внешней опасности. «Наш путь — стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь»; «В степном дыму блеснет святое знамя И ханской сабли сталь» (т. 3, с. 249). И образ Руси здесь сходен с той дикой и вольной женщиной, которую мы встречали в поэзии Блока. Здесь он сравнивает ее со степной кобылицей. И красный цвет — цвет борьбы и тревоги — здесь присутствует. «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами Степную даль». «Закат в крови! Из сердца кровь струится!». Поэт ощущает свою неразрывную связь с Родиной, как с венчанной женой, с которой до гробовой доски должен делить общий путь. Не мать, а именно жена. Ибо, «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Бытие, II, 24). Во втором стихотворении цикла: «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...», полном тоски и предчувствия смерти, появляется другой образ родины — больной, печальной, но просветленной:

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннюю обедней
Мила друга, светлая жена.

(т. 3, с. 250)

⁴⁴ См. интересный анализ цикла в ст.: *Ильев С. П.* Куликовская битва как символическое событие: (Цикл «На поле Куликовом» Блока и роман «Петербург» Андрея Белого) // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 22—40.

И, наконец, в третьем стихотворении: «В ночь, когда Мамай залег с ордою...» наступает кульминация постижения Родины и подлинного слияния с нею. В ночь перед решительной битвой герой весь полон ее ощущением, ее образами. Это и мать воина, которая «о стремя билась» и «голосила» (вспоминаются образы Гоголя), и юная невеста-княжна из сказки («Непрядва убралась туманом, Что княжна фатой»). Но главное, она является герою в облике Богородицы или Мировой Души, не просто светлая, но лучезарная, «в одежде, свет струящей».

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече,
И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

(т. 3, с. 251)

В час высокого служения, наивысшего напряжения духовных и физических сил, которые он готов отдать за правое дело освобождения своей страны, — довелось герою пережить момент высшего счастья — Она снизошла к нему и благословила его.

Два последних стихотворения цикла говорят о горечи утраты смысла жизни, который осознал герой «в ночь, когда Мамай залег с ордою». Снова вернулась «вековая тоска», «умчались, пропали без вести, степных кобылиц табуны», герой «рыщет на белом коне», как заблудившиеся странники «Безвременья». Он снова одинок, Русь снова объята пожаром, а кругом мгlistая, пасмурная ночь.

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи! —

взывает герой к Той, Светлой, которая его покинула. Но ответа нет. В его «растерзанном сердце», «вздымаются светлые мысли», но они падают, «сожженные темным огнем». Однако в последнем, пятом стихотворении цикла «Опять над полем Куликовым...» содержится намек на возможность возврата того высокого мгновения, которое пережила Русь в битве с Мамаем, и того обретения цели и смысла жизни, которое пережил тогда герой. Казалось бы, все мрачно и сонно на Руси. «Грядущий день» скрыт непроглядной мглой. Но роковой момент близок.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!

(т. 3, с. 253)

Надо готовиться к этому новому испытанию, надо быть достойным этого высокого часа, когда он придет.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

(там же)

Цикл «На поле Куликовом» — это стихи о родине, о стремлении послужить ей, разделить ее судьбу, слиться с ней, с ее народом и о непомерной трудности выполнения этой задачи.

Андрей Белый, потрясенный этими стихами, назвал их позднее «великолепным синтезом».⁴⁵ По мнению А. Белого, Блок в своих стихах о России «становится, приоткрываясь, впервые нашим национальным поэтом».⁴⁶ Цикл «На поле Куликовом» — новая ступень в становлении Блока. «Индивидуальных переживаний образа больше нет, — отмечает А. Белый, — есть образ коллективный — душа народа. И с этого времени мы уже не имеем индивидуального субъективного Александра Александровича, — перед нами поэт Русский, с большой буквы».⁴⁷

А. Белый считал, что «Куликово поле» (так он называл этот цикл. — А. А.) «перекликается и подает руку через несколько лет „Скифам“»⁴⁸ и что в этих произведениях Блок был наиболее национален. Действительно, тема России получила здесь наиболее полное, разностороннее, синтетическое раскрытие.

«Скифы» были написаны в два дня: 29 и 30 января 1918 года сразу вслед за «Двенадцатью», когда Блок переживал апогей своего мистического, максималистского принятия Октябрьской революции. Созданию «Скифов» предшествуют январские дневниковые записи, посвященные размышлениям о революционной России и буржуазной Европе, об их отношении к «позору 3.5 лет» войны и патриотического угара.

В этих записях Блок выступает не только противником буржуазной цивилизации, но и западного либерализма. «Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека. А эволюции, прогрессы, учредилки — стара штука» (т. 7, с. 317).

Непосредственным толчком к созданию стихотворения стали, видимо, известия о переговорах в Бресте. «Война прекращена. Мир не подписан», — записывает Блок 29 января и подчеркивает эту запись красным карандашом. Андрей Белый вспоминал, что «когда разразилась мировая война, то Блок был один из немногих поэтов, воздержавшихся от всяких националистических стихо-

⁴⁵ Белый А. Вступительное слово и речь на LXXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 г., посвященном памяти Александра Блока // Александр Блок. Андрей Белый: Диалог поэтов о России и революции. М., 1990. С. 499.

⁴⁶ Там же. С. 496.

⁴⁷ Там же. С. 501.

⁴⁸ Там же. С. 499.

творений». Но в «Скифах», «написанных Блоком, вы помните, в каких условиях русской действительности: — когда русской армии уже не существовало, Брестский мир еще не был подписан, и все себя спрашивали — что же за положение создается?»⁴⁹ — в «Скифах» выражена та любовь к России, которая позволила поэту в это катастрофическое время увидеть, как его родина готова преподать высокий урок Европе.

Основная тема «Скифов» — Россия и Запад — во многом традиционна для русской литературы, и Блок, несомненно, опирался на эту традицию, обозначенную прежде всего именами Пушкина, Достоевского, Владимира Соловьева. Опирался, но и отталкивался, переосмыслил ее. В широкой теме — Россия и Запад — есть и специфический ее поворот: Азия и Европа. (Такая запись есть в записной книжке Блока 29 января — ЗК, 387). Россия как щит, заслоняющий Европу, жертвующая собой ради Европы, — такой аспект этой темы впервые был поставлен Пушкиным («Клеветникам России»)⁵⁰ и широко обсуждался Достоевским, который утверждал, что «вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» (13, 337). И в связи с этим возникает образ той опасности, от которой Россия защитила Европу. Это когда-то монгольские орды, а теперь... это «Азия», образ почти символический. Об опасности «желтой Азии» для современной европейской культуры говорили многие. Русско-японская война 1904—1905 годов актуализировала эту тему. Вячеслав Иванов писал в 1905 году, что «наша первая пуническая война с желтой Азией» — «пробный камень народного самосознания и искус духа». Война России и Японии воспринималась как символическое событие — первое столкновение мира «азиатского» с христианством. «Желтая Азия подвиглась исполнить уготованную ей задачу — задачу испытать дух Европы: жив ли и действителен ли в ней ее Христос?»⁵¹ И Россия, как всегда, оказалась первой на пути этой азиатской агрессии и первая должна была выдержать удар. «Желтая Азия спросила нас первых, каково наше самоутверждение». И хотя Россия не дала достойного ответа («в нас был только разлад»), она осознала

⁴⁹ Там же. С. 502.

⁵⁰ См. об этом: *Иванов-Разумник*. Испытание в грозе и буре («Двенадцать» и «Скифы» А. Блока) // *Иванов-Разумник*. Александр Блок. Андрей Белый. Пб., 1919. Оставляем в стороне тему «скифства», разрабатывающуюся группой писателей-символистов в 1917—1919 годах и, несомненно, отразившуюся в произведении Блока. См.: *Дьякова Е. А.* Христианство и революция в мирозерцании «скифов» (1917—1919) // *Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка*. 1991. Т. 50. № 5. Сентябрь—октябрь. С. 414—425. Преклонение перед стихийной мощью молодых сил (народа), идущих на смену дряхлеющей европейской культуре, характерно уже для молодого Блока (ср. «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», «Поэзия заговоров и заклинаний»). Однако эта апология стихийной языческой энергии, бьющей как бы из-под земли (ср. образ лавы в статье «Стихия и культура»), как и поздняя теория «скифства», никак не связаны с представлениями о народе Достоевского, соотносенными с идеалами православия.

⁵¹ *Иванов Вяч.* По звездам. С. 312.

поражение как необходимость искать свое «самоопределение». «Свободы возжаждали мы для самоопределения»,⁵² утверждал Вяч. Иванов, имея в виду революционный подъем 1905 года.

Проблемы столкновения Европы и Азии, и именно столкновения их в России, подняты Андреем Белым в романе «Петербург».⁵³ Идеи эти, как отмечал уже Иванов-Разумник, — опирались во многом на Вл. Соловьева.

В своих поздних сочинениях философ и поэт предостерегал христианскую Европу от азиатской опасности (стихотворение «Дракон»). Определенную долю вины и ответственности он возложил на саму европейскую (христианскую) культуру, которая в лице «растленной Византии» отреклась от идей христианства, забыла их и ничего не сумела противопоставить мощному напору энергичных азиатских племен (Стихотворение «Панмонголизм», 1894). В своей последней книге «Три разговора» (1900) Вл. Соловьев изображает будущее Европы в XX в., когда зародившаяся в быстро прогрессирующей, учащейся у европейцев Японии идеология «панмонголизма» собрала под свои знамена многочисленные народы восточной Азии. Сначала японцы устанавливают свою власть в Корее и Китае, а затем, воспользовавшись всеобщей ненавистью азиатов к европейским колонизаторам, создают огромную армию, вооруженную европейским оружием. Армия эта переходит границы России и движется на запад. Из-за неожиданности нападения и неподготовленности России к войне, а также из-за национальных и классовых противоречий в Европе (Франция нападает на Германию, когда к границам последней подходят азиатские армии, в Париже происходит восстание пролетариата), победа Азии над Европой полная. «Полвека длится новое монгольское иго над Европой».⁵⁴ Однако европейские народы объединяются для всеобщей борьбы за освобождение, создают сеть подпольных организаций, общую армию и успешно изгоняют завоевателей. «Если полувековое подчинение азиатским варварам произошло вследствие разъединения государств, думавших только о своих отдельных национальных интересах, то великое и славное освобождение достигнуто международной организацией соединенных сил всего европейского населения». В результате гибнет старый европейский порядок существования разрозненных государств. «Европа в XXI веке представляет союз более или менее демократических государств — европейские соединенные штаты».⁵⁵ Воедино же сольются и все христианские конфессии.

Эти пророчества Вл. Соловьева, конечно, производили впечатление на его современников и последователей. Интересно

⁵² Там же.

⁵³ См. об этом: *Иванов-Разумник*. Испытание в грозе и буре. С. 567, 571; *Ильев С. П.* Куликовская битва как символическое событие. С. 32—40.

⁵⁴ *Соловьев В.* Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории... СПб., 1901. С. 156.

⁵⁵ Там же. С. 157.

отметить, что концепция Соловьева перекликается с некоторыми суждениями Достоевского. Достоевский тоже думал об опасности, которая грозит с Востока христианской культуре. Свидетельства этого не раз встречаются в его записных тетрадях. В 1875 году он делает запись, которую можно было бы представить как краткий сценарий развития этой темы в «Трех разговорах» В. Соловьева: «Китай. Увеличение населения. Малость территории. Встречи с нами в Азии. По примеру Японии введение войска и оружия. *Мастера* различных производств. Переем от Европейских порядков.

Подъем азиатских царств вдруг (Тамерлан) по издревле существующему там факту» (21, 267).⁵⁶

Работая над «Дневником писателя», Достоевский не раз возвращается к этой теме. Он сочувственно отмечает передовую статью нелюбимого им «Голоса» от 14 декабря 1875 года, где говорилось о возможном противостоянии быстро развивающихся Японии и Китая и отсталой Сибири (см. 24, 77 и 411). Об опасности проникновения китайцев из перенаселенной страны в малозаселенную и плохо защищенную Сибирь Достоевский писал, обдумывая февральский выпуск «Дневника» 1876 года (см. 24, 83—84). Упоминание о Китае и Японии встречается в записной тетради 1876 года неоднократно (см. 24, 88, 89). В плане февральского «Дневника» указана статья на эту тему (24, 130). Тогда же Достоевский советовался по этому вопросу с известным востоковедом и крупным чиновником В. В. Григорьевым (см. 24, 131). Речь должна была идти о слабой защищенности наших восточных и юго-восточных границ, что весьма занимало Достоевского. Но Григорьев писать такую статью Достоевскому отсоветовал, полагая, видимо, что писателю не следует вникать в вопросы внешней и военной политики правительства.⁵⁷ Разумеется, надо иметь в виду, что постоянный интерес Достоевского к восточным проблемам не сводился к этим заметкам о возможной опасности, грозящей России с Дальнего Востока. Для писателя это и русская политика в Средней Азии, и заинтересованное отношение к исламу и личности Магомета, и, наконец, «восточный вопрос», который он рассматривал не только как проблему геополитическую, но также как религиозную и нравственную. Однако эта частная и в чем-то побочная тема историко-политических размышлений До-

⁵⁶ В 21 т. дано несколько иное расположение текста. Ср.: Опечатки, исправления и дополнения к томам 1—30₂ (см. 30₂, 421).

⁵⁷ Василий Васильевич Григорьев (1816—1881) — специалист по восточной политике Российской империи, занимался взаимоотношениями России со среднеазиатскими ханствами, автор ряда работ о Туркестанском крае. В 1862 году создал кафедру Востока в Петербургском университете. Был редактором газеты «Правительственный вестник», с 1874 года начальник Главного управления по делам печати. Проводил политику жестокой русификации во всех национальных регионах. О нем см.: *Веселовский Н. И.* Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. СПб., 1887.

стоевского может привлечь внимание исследователя в связи с проблематикой «Скифов».

Конечно, Блок ничего не знал об отношении Достоевского к дальневосточным проблемам России. Но с Владимиром Соловьевым писатель, по всей вероятности, беседовал на эти темы и даже, возможно, оказал в этом вопросе определенное влияние на своего младшего современника. Достоевский постоянно подчеркивал «подымчивость» азиатских наций, их способность быстро сплотиться и организоваться. Об этом же говорил и Соловьев, как в «Трех разговорах», так и в своих стихах.

Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков
(Панмонголизм, 1894)⁵⁸

То, что Блок, создавая «Скифов», ориентировался на Вл. Соловьева, сомнений не вызывает. На это указывает и эпитафия к стихотворению (неточное повторение первых двух стихов «Панмонголизма») и тематическая переключка с произведениями Соловьева. Таким образом, идеи Достоевского могли быть усвоены Блоком через интерпретацию их Соловьевым.

Но Блок в «Скифах» не разделяет воззрений своего учителя и кумира юности. Россия не противопоставляется им «желтой Азии», а отождествляется с нею. Теперь нет «щита меж двух враждебных рас», теперь Восток и Запад сошлись лицом к лицу.

А Восток — это и есть Россия, «скифы», «азиаты» «с раскосыми и жадными очами». В облике России, каким она предстала в этом произведении, видны черты той дикой и вольной Руси, которая изображалась в лирике Блока в образе удалой женщины, то ли прискакавшей «на вспененном скакуне» (т. 2, с. 86), то ли пустившейся «в пляс по всему своему бесцельному, непридуманному раздолью» (т. 5, с. 74). Вспоминается и дикая «степная кобылица» из цикла «На поле Куликовом».

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых...
(т. 3, с. 361)

Воля к свободе — главная черта изображаемой Блоком революционной России. Но образ ее гораздо сложнее.

В историческом прошлом, когда Россия выполняла роль щита для Западной Европы, народы ее были не просто «послушными

⁵⁸ Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 104.

холопами». Все дело в том, что Россия всегда любила Европу и служила ей, любя ее. Европа же платила страхом и ненавистью.

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плава наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

(т. 3, с. 360)

Вспомним, что именно так описывал отношения России и Европы Достоевский. «Не служила ли она (Россия) в продолжение всей петербургской своей истории всего чаще чужим интересам с бескорыстием, которое могло бы удивить Европу, если бы та могла глядеть ясно, и не глядела бы, напротив, на нас всегда недоверчиво, подозрительно и ненавистно, — писал Достоевский в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год — (...) Но нам нечего бояться их приговоров: в этом самоотверженном бескорыстии России — вся ее сила, так сказать, вся ее личность и все будущее русского назначения» (23, 45—47).

Сходно с Достоевским рисует Блок в «Скифах» и «всемирную отзывчивость» русского народа:

Нам внятно все — и острый гальский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы помним все — парижских улиц ад,
И венецянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

(т. 3, с. 361)

Достоевский не раз проводил эти мысли, говоря ли о творчестве Пушкина, о назначении России, или изображая чувства своих героев. В любимом Блоком «Подростке» Версилов говорит, видимо, хорошо запомнившиеся Блоку слова: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа была так же отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» (13, 377).

Но Блок в силу своей особенности — находить и анализировать противоречия в каждом явлении, находит противоречия и в любви России к Европе.

Это «любовь—ненависть», которая «и жжет, и губит». Потому что любя и понимая «сокровища их наук и искусств, (...) эти осколки святых чудес», Россия не станет защищать своих возможных врагов, милитаристские государства, мечтающие подавить революцию.

Говоря о мировом назначении России, Достоевский утверждал, «что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет для себя и в себе, а мы начинаем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. (...) Вот как я понимаю русское предназначение *в его идеале*» (23, 47).

Блок почти целиком разделяет этот идеал. Опускает он только мысль о служении и смирении. Его дикой и вольной Руси не могут быть свойственны такие черты. Но мессианская роль России Блоком выражена вполне. Революционная Россия идет к Западу с Новым Словом, слово это — любовь, мир и единение.

Придите к нам! от ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем братья!

(т. 3, с. 361)

Комментируя эти слова в своем анализе «Скифов», Андрей Белый подчеркивал, что здесь говорится о главной революции — духовной, ведущей за собой перестройку сознания людей. Не экономика, не политика самое важное в революции, а именно это духовное, нравственное освобождение и возвышение каждого человека. «Да, братья, братья; „товарищи“ — это только начало... Александр Александрович теперь уже знает, что политическая революция — „граждане“ — сон пустой, она взывает к социальной; и социальная революция («товарищи!») — сон пустой, она взывает к духовной, к революции сознания. Если мы не исправим наших индивидуальных путей, если мы, реформируя экономику, не станем каждый „стеzeug“ — какая же чертовская гримаса получится из всего этого!».⁵⁹

Создавая «Скифов» в самое тяжелое для родины время, Блок написал оптимистическое произведение. Он ощущал, что революция на подъеме, что будущее России еще не ясно, но он верил, что она будет свободной. Отсюда и не характерный для него исторический оптимизм, и идея русского мессианизма. На этой основе и произошло сближение его, может быть, до конца не осознанное, с идеалами Достоевского, согласно которым Россия укажет другим странам и народам правильный путь к миру и единению. При одном существенном различии: если для Достоевского великое всемирное назначение России имеет религиозное основание (Россия — носительница православия), то Блок видит мировую роль России в обновлении мира не в религии, а в революции.

⁵⁹ *Белый А.* Вступительное слово и речь на LXXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации... С. 503.